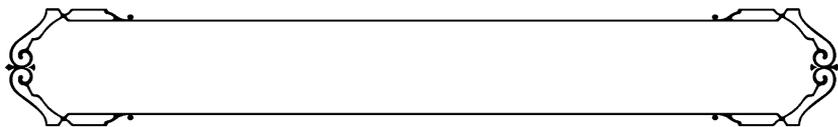




ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ



ПРАВДА ШАЛАМОВА — НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Эта книга — памятник мужественной и многострадальной жизни Варлама Тихоновича Шаламова.

В его жизни едва наберется 30 лет, прожитых в «нормальных условиях».

10 лет детства («1918 год был годом краха нашей семьи») и 20 лет после реабилитации по второму делу. С 1956 до 1977 года — обострение его болезни. (Если считать нормальным, что его прозу не печатали в СССР). Но сам он в рассказе писал: «Я никогда не был вольным, я всегда был свободным во все взрослые годы моей жизни» («Необращенный»).

Он жил глубокой внутренней жизнью, где сожителем и соавтором его был целый мир.

И на листе — на ветровом стекле
Летящей в бесконечное природы,
Моя земля скрывается во мгле,
Доступная познанию небосвода.

(1970)

Внятен ему был голос цветка и камня, прошлого и будущего, человеческого сердца и далекой звезды, быть может окончившей свой век гигантским алмазом.

При таком необъятно глубоком восприятии мира и 30 лет вмещают не только память о трагедии государственного насилия, о войнах, лагерях и бесправии, о человеческой жизни и смерти, но и о бесстрашии, о славе и делах людей, подобных Фриггофу Нансену или Эрнесто Че Геваре.

Его внутренний, свободный от всех ограничений — политических, литературных, клановых, житейских — мир (исключительно редкий случай!) и отразился на страницах его гениальной прозы, его стихов.

Пять циклов «Кольмской эпопеи»: «Кольмские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Воскрешение лиственниц», «Перчатка, или КР-2» и «Очерки преступного мира» включены в настоящий сборник.

Содержание прозы, адресованное автором прямо сердцу и разуму читателя, не нуждается в посредниках. Оно нуждается в исследователях, тончайшем интеллектуальном препарировании в поисках потаенных смыслов, связей, символов, метафор, ритмов, подтекста и контекста.

То, что читатель почувствует, исследователь извлечет вполне сознательно в меру своих возможностей. Шаламову же важнее было сердечное сочувствие читателя. Он подарил И. П. Сиротинской книгу Антуана де Сент-Экзюпери, подчеркнув его слова «Зряче только сердце».

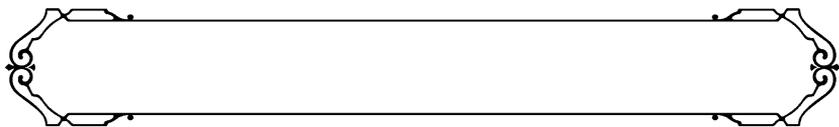
Для тех, кто интересуется жизнью и творчеством В. Т. Шаламова, почитателей его таланта, для исследователей, работающих с материалами Фонда В. Т. Шаламова в РГАЛИ, не подлежит сомнению огромная роль И. П. Сиротинской, наследницы В. Т. Шаламова, в сохранении, пополнении, обработке, исследовании, публикации творческого наследия В. Т. Шаламова, его судьбе. В. Т. Шаламов посвятил И. П. Сиротинской три из шести сборников «Колымской эпопеи»: — «Левый берег», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка, или КР-2». Широкому кругу читателей будет интересно ознакомиться с некоторыми главами из воспоминаний И. П. Сиротинской, помещенных в начале книги.

Век, прошедший с рождения В. Т. Шаламова, увы, только подтвердил его пессимистический прогноз о жестокости несправедливых войн, не встречающих сопротивления, о криминализации общества, о кризисе гуманизма.

Только бесстрашно и бескомпромиссно сказанная правда, облеченная в страстное художественное слово, оставляет надежду на спасение человечества.

По первому делу («За участие в антисталинской оппозиции» 1929 г.) В. Т. Шаламов был реабилитирован только в 2000 году на 15-м году перестройки и гласности.

И. Сиротинская, А. Ригосик



ВОСПОМИНАНИЯ

КАКИМ ОН БЫЛ

Первое впечатление от Варлама Тихоновича — большой. И чисто физический облик: высокий, широкоплечий, и ощущение ясное незаурядной, крупной личности с первых же слов, с первого взгляда.

Мне пришлось многие годы знать его. Это первое впечатление не изменилось, но усложнилось... Нельзя, да и не надо приводить эту сложную, противоречивую личность к одному знаменателю. В нем сосуществовали, противоборствовали, всегда находясь на «точке кипения», разные ипостаси его личности.

Поэт, чувствующий подспудные силы, движущие миром, тайные связи явлений и вещей, душой прикасающийся к нитям судеб.

Умница с удивительной памятью. Все ему интересно — литература, живопись, театр, физика, биология, история, математика. Книгочел. Исследователь.

Честолюбец — цепкий, стремящийся укрепиться в жизни, вырваться к славе, бессмертию. Эгоцентрик.

Жалкий, злой калека, непоправимо раздавленная душа. «Главный итог жизни: жизнь — это не благо. Кожа моя обновилась вся — душа не обновилась...»

Маленький незащитный мальчик, жаждущий тепла, забот, сердечного участия. «Я хотел бы, чтобы ты была моей матерью».

Беспредельно самоотверженный, беспредельно преданный рыцарь. Настоящий мужчина.

Теперь ношу ее цвета
В раскраске шарфа и цита...

2 МАРТА 1966 ГОДА

Разбирая его архив, я нашла в конвертике бережно хранимый им листочек настольного календаря за это число с его пометкой «11—30». Именно в этот день и час я впервые пришла к нему. Пришла по служебному делу как сотрудник отдела комплектования Центрального государственного архива литературы и искусства. Устроила эту встречу моя подруга — Наталья Юрьевна Зеленина, мать которой, поэт и ученый Вера Николаевна Клюева, дружила с Варламом Тихоновичем. Наташа меня предупредила:

— Смотри, он очень резок, чуть что не по нему, с лестницы спустит.

Я решила рискнуть, тем более и жил Варлам Тихонович тогда на первом этаже. К этому времени я прочитала те его рассказы, что ходили в самиздате. «Тифозный карантин» вызвал просто боль, пронзительную боль в сердце. Казалось, что-то нужно сделать сейчас же, неотложно. Иначе жить, иначе думать. Подломились какие-то основы, опоры души, привыкшей верить в справедливость, конечную справедливость мира: что добро восторжествует, а зло будет наказано.

Я шла к нему как к новому пророку, чтобы спросить: как жить. Но повод был приличен и официален — я собиралась предложить ему передать на вечное хранение свои рукописи в ЦГЛИ.

Дверь передо мной распахнул настезь высокий ярко-голубоглазый человек с глубокими морщинами на обветренном лице. Викинг! (В книжности В. Т. меня упрекал, но «викингом» ему быть нравилось, даже в стихии это вошло.)

Викинг галантно помог мне снять пальто, провел в узкую комнатушку (метров 7—8) и предложил изрядно облезлый стул. Я, не мешкая, изложила свою официальную миссию. Пока я говорила, он смотрел на меня чуть прищурившись, пронзительно, прямо-таки пронзающе. Но меня это почему-то не смущало, хотя я всегда легко смущалась и краснела до ушей. Но скоро его лицо утратило напряжение, стало мягким и доброжелательным. Он ответил согласием на мое предложение относительно рукописей. И я, без всяких предисловий, приступила к главному. Как жить? Этот вопрос его не удивил. Может быть, я была не первой, кто его задавал. Он ответил, что, как сказано в десяти заповедях, так и жить. Ничего нового нет и не надо. Я была чуть-чуть разочарована. И все? И тогда он добавил одиннадцатую заповедь — не учи. Не учи жить другого. У каждого — своя правда. И твоя правда может быть для него непригодна именно потому, что она твоя, а не его.

Уходя, я спросила, можно ли его навещать иногда.

Он кафедрально, внушительно, словно ставя мне оценку, сказал: «Приходите. Вы мне понравилась». Я ответила: «Вы мне — тоже». И увидела, как суровый викинг вдруг смутился, как мальчишка, и стал неловко подавать мне пальто.

Действительно, он меня не разочаровал — он был точно такой, каким должен был быть Автор «Колымских рассказов».

А свою одиннадцатую заповедь ему самому случалось часто нарушать. Его убеждения всегда были окрашены страстью в яркие, контрастные тона. Полутона — не его стихия. И он не просто говорил, думал вслух — он учил, проповедовал, пророчествовал. Был в нем Аввакумов дух непримиримости, нетерпимости.

Мне, например, матери троих малых детей и дочери любимых и любящих родителей, он не уставал проповедовать фалангу Фурье, где стариков и детей опекает всецело государство.

«Ни у одного поколения нет долга перед другим! — яростно размахивая руками, утверждал он. — Родился ребенок — в детский дом его!»

Это не мешало ему с неуклюжей почтительностью принимать у себя моих малышей (я часто ходила в гости с ними), хранить их рисунки, даже писать стихи о них. «Мой знакомый Пикассо...» — это стихи о рисунках моего сына Алеша.

«ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГОНЮТ!»

Во время войны мы эвакуировались из Москвы в Иркутск вместе с авиационным заводом, где работал мой отец. Поселились мы на Болотном участке — так называлась застройка из двухэтажных бараков, действительно, на болоте, так что вместо тротуаров были настланы деревянные доски. Мимо пролегал тракт — булыжная дорога с глубокими кюветами. Однажды мы играли у дома, и дети закричали: «Заключенных гонют!» И я вместе со всеми подбежала к тракту. Из кювета мы смотрели на медленно приближавшиеся серые колонны. Помню шорох от шарканья многих ног. И мое потрясение оттого, что это были обыкновенные уставшие люди. Не знаю, чего я ждала.

Я рассказала Варламу Тихоновичу об этом детском воспоминании, и он был взволнован до крайности: именно «гонют», именно серые. И рассказал, что Иркутлаг был одним из крупнейших лагерей.

Потом мы, москвичи, часто встречали длинные колонны заключенных, и уже не удивлялись, не бежали навстречу, это было обыкновенно.

Ту первую встречу я помнила всегда. Значит — знала. Но это мне не мешало верить в справедливость и доброту мироздания к человеку. Верить даже не на интеллектуальном, а на каком-то биологическом уровне. Может быть, оттого, что во мне, как и в Варламе Тихоновиче, гены древнего священнического рода. И хотя я, как и он, неверующая, но на каком-то генетическом уровне во мне закрепилась вера в добрые высшие силы. Варлам Тихонович писал мне: «Мы очень с тобой похожи». В этом мы действительно были похожи.

Есть и еще один исток «похожести» — мы оба выросли на книгах, на литературе XIX века. Об этом мне В. Т. сказал в одну из первых же встреч.

Если тщательно проанализировать стихи и прозу Варлама Тихоновича, то обнаружится в нем даже не вера — структура души, сознающей свое единство с вечной и высшей силой. В «Вишерском антиромане» он писал: «Идеальная цифра — единица. Помощь «единице» оказывает Бог, идея, вера... Достаточно ли нравственных сил у меня, чтобы пройти свою дорогу как некоей единице — вот о чем я раздумывал в 95 камере мужского одиночного корпуса Бутырской тюрьмы...» Это было в 1929 году.

Он и прошел свой путь «единицей» — в первой, главной ипостаси своей личности.

КОШКА

Кроме моей подружки еще одно существо оказало мне протекцию при знакомстве с Варламом Тихоновичем. Я сначала не оценила всей важности этой рекомендации, и когда большой кот настойчиво стал тереться об мои ноги, я небрежно погладила его ногой. Тогда он вспрыгнул мне на колени и стал бодать мои руки, и я его согнала без всяких церемоний, чтоб не мешал. И удивилась, когда Варлам Тихонович растроганно сказал: «Не подходит к чужим». Он рассказал мне о другой кошке, о кошке Мухе, которая погибла в 1965 году. «Ближе ее не было у меня существа никогда. Ближе жены...» Муха гуляла с ним вечерами, как собака. Сидела на письменном столе, когда он писал. Существо, которое не мешало, но любило. Когда кошка пропала, Варлам Тихонович искал ее всюду, даже там, куда свозят пойманных животных. Он рассказывал об этом, дрожа всем телом. «Я вошел, меня всего трясло, там в клетках на стеллажах сидят кошки — и молчат. Все молчат. Они все поняли и готовы умереть. Я звал ее, но ее там не было». Рабочие, что-то ремонтировавшие во дворе, сказали Варламу Тихоновичу, что закопали утром убитую кошку. По просьбе В. Т. они ее выкопали. В. Т. ее вымыл, высушил на батарее, простился с ней и похоронил.

Мне было жаль его бесконечно и жаль Мухи. В моем детстве остался мой любимый, тоже погибший друг — дворняжка Дек. До сих пор он мне снится. Его карие, сияющие любовью глаза. И я, просыпаясь, думаю, что не может такая великая любовь пропасть из мира бесследно.

Варлам Тихонович понял серьезность моего сочувствия. «Людам далеко до кошек, — сказал он, — но вы — можете быть кошковой». Вот такой комплимент я получила, и только потом поняла, что это был очень большой комплимент.

ДОЛГИЕ-ДОЛГИЕ ГОДЫ БЕСЕД

Я стала часто бывать у Варлама Тихоновича. К моему приходу он заготавливал узенькие полоски бумаги, где записывал, что надо мне сказать. Некоторые и сейчас сохранились в его бумагах. И я попадала буквально под ливень рассказов. Рассказчиком он был прекрасным, так что перед моими глазами прямо оживали куски его прошлого. «Я почему-то все прямо вижу», — сказала я однажды. «Оттого, что я вижу это сам». Я и сейчас слышу, как понижается его голос, замедляется речь, когда рассказ достигает кульминации, прищуриваются и сверкают глаза, а поза становится напряженной. И вот уже почти нараспев: «Но-о он не взял коробку...» (Он рассказывает мне о Г. Г. Демидове, эпизод, описанный в рассказе «Житие инженера Кишреева») Пауза. И дальше — как выстрел — «Американские обноски я носить не буду». Пауза.

Почти все его рассказы, особенно написанные в 1966-м и позднее, я слышала от него, а потом читала. Он шутил, а порой и почти серьезно называл меня соавтором, даже написал это в посвящении сборника «Воскрешение лиственниц». Истинно здесь только то, что мое восхищение его

прозой, моя готовность слушать стимулировали как-то его творческий поток. Не раз говорил он мне, как дорога ему возможность «высказаться» до дна. Были у нас и споры. Я упрекала его в порою затянутой, на мой взгляд, экспозиции, в излишнем философствовании. Это должно уйти в подтекст, говорила я, в эссе.

Мне казалось, что это от неутоленной жажды высказаться. Оттого, что в рассказ шло все — и то, что должно идти в эссе, в мемуары, в письма. Слова вылетали под напором невысказанных мыслей, чувств. «Все мои рассказы прокричаны...» — писал он мне в 1971 году. Так это и было.

В момент рождения именно высокий эмоциональный накал не давал возможности контролировать поток. А потом он редко возвращался к записанному рассказу.

Наверное, я была неправа — ценность его прозы — в ее первозданности, в первозданности чувства, мысли, слова, в запечатлении самого момента проявления души.

Между ним и читателем нет даже едва ощутимой преграды, отстраненности, нарочитости литературного стиля, читатель прямо вступает в поток непосредственного общения с его душой. Тут литературность, в самом деле, могла только помешать. А уж он ли не знал, не обдумал до тонкостей литературных приемов!

А я ему говорила, что надо немного редактировать себя — кое-что отделить, поправить после того, как рассказ записан. Он очень огорчился, и в ответ мне написал как-то целое эссе, отставив «свободное проявление души писателя» как творческий метод.

«Каждый мой рассказ — пощечина сталинизму и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного характера... В рассказе отделанность не всегда отвечает намерению автора — наиболее удачные рассказы написаны набело, вернее, переписаны с черновика один раз. Так писались все лучшие мои рассказы. В них нет отделки, а законченность есть...

Все, что раньше, — все как бы толпится в мозгу, и достаточно открыть какой-то рычаг в мозгу — взять перо — и рассказ написан.

Рассказы мои представляют успешную и сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа... Пощечина должна быть короткой, звонкой... Каждый мой рассказ — это абсолютная достоверность. Это достоверность документа... Для художника, для автора самое главное — это возможность высказаться — дать свободный мозг тому потоку. Сам автор — свидетель, любым своим словом, любым своим поворотом души он дает окончательную формулу, приговор. И автор волен не то что подтвердить или отвергнуть каким-то чувством или литературным суждением, но высказаться самому по-своему. Если рассказ доведен до конца, такое суждение появляется» (1971).

Уже после смерти Варлама Тихоновича я горько упрекала себя, что не записывала наши беседы. Но потом, прочитав его записи, все написанное им, я поняла — он-то записал почти все.

Я думала тогда, думаю и сейчас, что Шаламов шел новым для русской прозы путем.

В русской прозе современной сильнее других, пожалуй, классическая толстовская традиция. Солженицын — весь в этой традиции. Безусловно, очень почтенная и почитаемая традиция. И критики к ней приспособились — типы, психологизм, сюжетные линии, их пересечения, голос автора...

С этой меркой к прозе Шаламова подойти нельзя. Как нельзя в строе психики золотого XIX века осмыслить Хиросиму, Освенцим и Колыму.

Я всегда говорила Варламу Тихоновичу, что он нашел адекватную жизненному материалу художественную форму, что это — его большой вклад в русскую литературу. Предельная сжатость рассказа, словно заключающая в себе пружину, которая остро распрямляется в сознании, в сердце читателя. Одна фраза из «Одинокного замера»: «Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшней день» — войдет в память на всю жизнь.

Он показал жизнь и психику запредельную, за рубежом добра и зла, и только так ее можно было показать — без нагнетания чувствительности, без психологических изысков, лишние слова здесь кажутся кощунством. Сурово, лаконично, точно. Лаконизм этот — спрессованный до предела гнев и боль автора. Эффект воздействия его прозы — в контрасте сурового спокойствия рассказчика, кажущегося спокойствия повествования и взрывного, сжигающего содержания.

Тогда немного было людей, которые ему это говорили. И даже моя малая поддержка была ему важна. Он писал мне в 1966 году: «Ты даешь мне сознание моего маленького места в жизни...» Маленького — это уже от гордости.

Я ценила его прозу больше, чем его стихи, и это его очень обижало. А мне тяжело было слышать в 70-е годы, когда он говорил изредка: «Да что рассказы — нет в них ничего особенного». Его творческий поток в эти годы как-то переместился в стихи, а стихи все реже, как мне казалось, сохраняли крепость настоящей поэзии. Он пытался писать и стихи «на случай». Это не получалось, т. е. получалось плохо. Я, конечно, ничего не говорила ему, но он это чувствовал. Проза все иссякала, иссякала. После 1973 года он писал прозы совсем мало.

ВОЛОГДА

В 1968 году, летом, я побывала в Вологде. Побывала в доме у Софийского собора, где прошло детство Варлама Тихоновича, побродила по Шаламовской горке. А ему привезла фотографии и (сознаюсь в этом варварстве) кусочек собора, который отколушнула от цоколя. В это лето Варлам Тихонович мне написал:

8 июля 1968 г.

«...Я думал, город давно забыт, встречи со старыми знакомыми (имеется в виду художник В. Н. Сигорский и его жена, уроженцы Вологды)... ника-

ких эмоций, ни подспудных, ни открытых у меня не вызывали — после смерти матери все было кончено, крест поставлен на городе... А вот теперь, после твоей поездки — какие-то теплые течения где-то глубоко внутри... Удивительно здорово, что ты видела дом, где я жил первые пятнадцать лет своей жизни, и даже заходила в парадное (так оно раньше называлось) крыльцо с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом. Просто сказка. Белозерский камень мне потому менее дорог, чем камень от собора, что на Белоозере я никогда не был, а у Собора прожил пятнадцать лет. Деревьев там не было (с фасада дома). Никогда. Было гладкое поле, дорога. Куст боярышника под окнами. А дерево — тополь — был на дворе сзади дома...»

Так началась поток воспоминаний — «Четвертая Вологда». Не буду ее пересказывать, она известна читателям. В те годы В. Т. почти непрерывно рассказывал о своем детстве, но кое-что в повесть не вошло.

«Я не любил своего отца», — говорил Варлам Тихонович. Вряд ли это отношение было однозначным. Скорее — тут неизбежное столкновение двух одинаково твердых и страстных характеров. И не таким уж страшным деспотом был отец — он не заставил ни одного из сыновей избрать духовную карьеру, хотя и хотел этого, не препятствовал свободному времяпровождению сыновей и дочерей, не навязывал знакомых. Да и кухонные занятия матери — обычная и неизбежная вещь в небогатой семье.

Летом 1989 г. я вновь побывала в Вологде, поработала в Вологодских архивах, чтобы немного разобраться в родословной В. Т. Смущало меня зырянское, по словам В. Т., происхождение отца («шаман», «полузырянин»). Выяснила я, что Тихон Николаевич — сын и внук священника, а корень этого разветвленного рода идет из Великого Устюга, в «усть-сысольскую глушь» попал лишь отец Тихона Николаевича — Николай Иванович, а дед Иоанн Максимович Шаламов происходил из городского священства, хотя и служил к концу жизни в приходской церкви Устюжского уезда. Семья Тихона Николаевича была отнюдь не бедна: он получал ежегодно пенсию за службу в Северо-Американской епархии 1350 р., оклад соборного священника 600 р., кружечный доход около 250 руб. По дореволюционным ценам это был небогатый, но приличный доход.

Кухонные занятия матери — это, конечно, уже послереволюционная пора.

Варлам Тихонович без слез не мог вспоминать о матери и сестре Наташе. Но кто из женщин не тащит этот воз — семейное хозяйство. И мать на кухне, и Наташа над корытом — это еще не трагедия. Но деньгами в семье распоряжалась мать, охотничьи трофеи делала мать... Не так уж задавлена была мать отцовской волей, если смогла потом удержать рухнувшие своды вселенной над своей семьей.

Скончался Тихон Николаевич 3 марта 1933 года, а мать — Надежда Александровна 26 декабря 1934 года, оба — в возрасте 65 лет.

Своей семье многим обязан Шаламов — неспигаемой нравственной твердостью и силой духа, которую можно принести только из детства, когда создается, рождается личность. И цепетильная честность, и гордое стремление к независимости.

Как презирал он интеллигентские московские побои на бедность опальным. «Три рубля за вход — и уже твой благодетель». Вспомнишь его слепого отца, ходившего сражаться за бога, и мать, в одиночку боровщущуюся с нищетой.

И о брате Сергее. Есть у Варлама Тихоновича четверостишие:

Зови, зови глухую тьму —
И тьма придет.
Завидуй брату своему,
И брат умрет.

Старший брат, Сергей, признанный лидер вологодских мальчишек. Лучший охотник, самый отважный пловец, строитель «Шаламовской горки». Мальчишечье благоговение было в интонациях Варлама Тихоновича, когда он рассказывал о брате, о его неограниченной власти над мальчишками. И этот эпизод, когда какой-то парень на ледяной горке сказал ему, малышу:

— Подвинься-ка, пацан.

А его провожатый (и В. Т. принимал крайне забавный вид холодного достоинства, а губы его подергивались от предвкушения веселого торжества) сказал медленно и веско:

— Это не пацан. Это брат Сереежки Шаламова.

Была какая-то детская зависть к брату, всеобщему любимцу. «Я хотел быть в детстве калекой, больным». — «Зачем?» — удивилась я. — «Чтобы меня любили».

Может быть, было какое-то предчувствие у родителей. Смерть ходила за Сергеем по пятам. И погиб он в 22 года.

Редко относился к мужчинам Варлам Тихонович с сердечной теплотой. С уважением — да. Но не с теплотой. Но Сергей... Я видела эту живую детскую любовь, восхищение, которые связывали В. Т. с давно погибшим братом.

ПЕВЕЦ

— То, что я больше всего хотел в детстве — не сбылось, — сказал Варлам Тихонович, — я хотел быть певцом.

Слуха у него не было. И музыку он не любил, не понимал, а вот певцом быть хотел. И такая свежая горечь была в его словах, что я перестала смеяться. Да, он воображал сцену, декорации, овации... Это был живой и громкий успех — то, чего не было в его жизни. Не посмертная слава («на что она мне?»), не где-то существующие читатели и почитатели, а здесь, сейчас — партер, ярусы, обвал оваций.

Он сочинял в юности экзотические песни. «У тебя холодные колени...» («Ориноко»), синеглазые марши, даже исполнял мне их неожиданно высоким и неверным голосом, но — с увлечением. Это было очень смешно и немножко грустно.

БИМИНИ

Вообще мы часто играли: рисовали друг друга, писали шуточные стихи, чертили подробные планы страны Бимини с бухтами, причалами, дворцами и яхтами. И я рассказывала о необыкновенных нравах этой страны: когда там расстаются, например, то без слов — только пошлют друг другу цветок. «Два корабля и три дельфина» — это с карты страны Бимини. В его стихах осталась она, «как тайнопись, которой маги заворожили свой секрет...»

Но в мире преувеличения,
В облчьи сказок и легенд,
Она сама была леченьем...

*(«Она ко мне приходит
в гости», 1973 г.)*

В самом деле, это было целительно. Десять лет я опекала Варлама Тихоновича, и он в эти годы не болел. Узнала я недавно, что мать Тереза говорит — возьми за руку человека. А ведь чисто интуитивно так поступала я. Приду — он зол, издерган, взвинчен. Я просто молча беру его за руку. И он затихает, затихает. И словно проступает другое лицо, другие глаза — мягкие, глубокие, добрые.

Сейчас я думаю: после того ада, который он прошел, как много душевных сил в нем оставалось, что хватало их на мои игры — чудеса и паруса, дельфинов и викингов.

«С ТЮТЧЕВЫМ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Многие стихи рождались на моих глазах. Расскажу еще об одном стихотворении.

Грозы с тяжелым градом,
Градом тяжелых слез.
Лучше, когда ты рядом,
Лучше, когда — всерьез.

Нынче прошу прощенья
В послегрозовый свет.
Все твои запрещенья
Я не нарушу, нет.

С Тютчевым в день рожденья,
С Тютчевым и с тобой,
С тенью своею, тенью
Нынче вступаю в бой.

Дикое ослепленье
Солнечной правоты
Мненье или сомненье
Все это тоже ты.

(1968 г.)

Событийная основа стихотворения, как всегда, реальна: в 1968 году мы праздновали день его рождения, как всегда, — по старому стилю, 18 июня: глубокие тарелки с конфетами и яблоками, свежие огурцы, курица — из кулинарии, моя фотография у Вологодского кремля — на столе. И гадание по Тютчеву. Бывало — по Блоку. Но почему-то никогда — по Пастернаку. В июле я уезжала в отпуск с детьми, и ему строго-настроено наказала не жариться на солнце в Серебряном Бору: был год активного солнца, а он любил плавать и загорать в Серебряном Бору.

Вот об этих моих запрещениях он и написал. Было тогда светлое, счастливое время его жизни, тени Колымы отступили на время. Это лето 1968 года, июнь 1968 года он назвал лучшим месяцем своей жизни. Из письма:

Москва. 12 июля 1968 г.

«...Июнь шестьдесят восьмого года — лучший месяц моей жизни... Если бы я был футурологом, чьи обязанности совсем недавно выполняли кудесники... я желал бы себе будущего в вечном только что прошедшем июне. Я предсказал бы себе этот июнь, пожелал бы себе только этого июня...»

Солнечная правота — это правота света, правота счастья.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ЕГО ЖИЗНИ

Немного я могу перечислить имен, которые он всегда, всегда упоминал с глубоким уважением. Александр Георгиевич Андреев — первое из этих имен, политкаторжанин, эсер, с которым он встретился в 1937 году в Бутырской тюрьме. И героя «Колымских рассказов» в его честь он называет Андреевым. Свет славы и подвига народовольцев был на этом имени, свет великой жертвы — всей жизни за идею, за свободу, за свое дело.

Георгий Георгиевич Демидов, физик, с которым Шаламов познакомился в Центральной больнице для заключенных на Колыме. Недавно меня разыскала дочь Демидова, Валентина Георгиевна, и дала мне прочитать рассказы отца. Конечно, это человек, Шаламову близкий по духу, — твердый, смелый, талантливый, неукротимый.

Это качество — нравственную твердость, верность себе — Варлам Тихонович ценил превыше всего.

Андрей Максимович Пантюхов — врач, заключенный, который спас Варлама Тихоновича, направив его на курсы фельдшеров в 1946 году. Доброта. Действенная доброта — вторая главная добродетель по шкале ценности Варлама Тихоновича.

Конечно, были просто люди близкие, с которыми Варлам Тихонович годами поддерживал отношения, ценил их дружбу, часто о них мне рассказывал. Многие из них также побывали в заключении. С некоторыми я познакомилась.

Моисей Наумович Авербах, часто помогавший Варламу Тихоновичу в житейских делах, Леонид Филиппович Волков-Ланнит, знакомый с В. Т. еще по 20-м годам, литератор, Галина Александровна Воронская (Галочка Воронская, как всегда называл ее Варлам Тихонович, дочь А. К. Воронско-

го), ее муж Иван Степанович Исаев (он провожал Варлама Тихоновича в дом инвалидов), Аркадий Захарович Добровольский, сценарист, знакомый В. Т. по Колыме, умерший, как и он, в доме инвалидов, Борис Николаевич Лесняк и его жена Нина Владимировна Савоева, врач, на Колыме много сделавшие для спасения В. Т., Валентин Валентинович Португалов, поэт, также «колымчанин», Столярова Наталья Ивановна, дочь Натальи Сергеевны Климовой, народоволки, героини рассказа Шаламова «Золотая медаль», Грозненский Яков Давыдович, Шрейдер Юлий Анатольевич и некоторые другие. Очень тепло говорил всегда Шаламов о сестре своей первой жены — Марии Игнатьевне Гудзь.

Особого рассказа требуют отношения Варлама Тихоновича с Б. Л. Пастернаком и Н. Я. Мандельштам.

Ю. О. ДОМБРОВСКИЙ

Варлам Тихонович еще в 1966 году дал мне «Хранителя древностей» и сказал: «Лучшая книга о тридцать седьмом годе». Я прочитала и удивилась какой-то колдовской завораживающей силе этой книги. Все еще вроде обыкновенно — слова, события, но вдруг становится страшно. Что-то страшное, холодное, мерзкое, как удав, вползает в жизнь.

Я захотела увидеть этого человека. И познакомилась с ним вскоре, пришла к нему в гости на Б. Сухаревский, где Ю. О. тогда жил. И застала кипу черновиков «Факультета ненужных вещей», приготовленных к выносу на помойку. Конечно, я пришла в ужас, тут же забрала их в ЦГАЛИ. Юрий Осипович с готовностью обшарил свое очень скромное жилище в поисках других рукописей и писем и передал мне кроме рукописей «Факультета» роман «Обезьяна приходит за своим черепом», «Театральные рассказы», повесть «Королевский рескрипт», письма и фотографии. Не нашел он писем Б. Пастернака и М. Шагинян, очень интересных, по его словам, хотя перетряхнул все книги («куда-то засунул, а может быть, унесли»).

Говорили мы с Юрием Осиповичем тогда долго. Он рассказывал захватывающие детективные истории, где фигурировали отпечатки пальцев покойника, блатари и следователи. Но самое замечательное и для меня интересное он сказал о Шаламове: «Тацитовская лапидарность и мощь».

Впоследствии Федот Федотович Сучков передал мне слова Юрия Осиповича: «В лагерной прозе Шаламов первый, я — второй, Солженицын — третий». Конечно, литература — не спорт, у каждого свое, не сравнимое с другим, место в ней. Но слово мастера о мастере — большая ценность по гамбургскому счету.

ТЕАТР НА ТАГАНКЕ

Мы познакомились с Варламом Тихоновичем как раз тогда, когда я переживала увлечение театром Любимова. Прошло много лет, но и сейчас я не помню более яркого театрального впечатления своего, чем спектакль «Добрый человек из Сезуана».

Плохой конец заранее отброшен,
Он должен,
должен,
должен быть хорошим!

Звонящий голос Славинной.

Варлам Тихонович скептически отнесся к моему увлечению. На его фотографии, подаренной мне тогда, в 1966 году, надпись: «Ирине Павловне с искренней симпатией и советом забыть театр на Таганке».

— Это все было, — говорил он мне, — Мейерхольд. Только забыто сейчас.

Но, подчиняясь моему желанию, он стал ходить в этот театр. И с каждым разом — все охотнее. «Павшие и живые», «Пугачев». После «Жизни Галилея» с Высоцким он сказал: «Давай напишем пьесу для этого театра». От соавторства я, конечно, отказалась, а к пьесам его интерес возобновился. Он стал делать наброски к пьесе «Вечерние беседы». Сюжет ее незатейлив: в тюремной камере встречаются все русские писатели, нобелевские лауреаты: Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын. Их гоняют на пилку дров, они выносят парашу. А вечерами они беседуют...

Варлам Тихонович увлекся театром. Ходили мы и на «Дни нашей жизни» в Театр Пушкина, и на «Интервенцию» в Театр сатиры. Это были пьесы, запомнившиеся Варламу Тихоновичу еще в молодости. Но сейчас спектакли его разочаровали, наверное, тогда он их воспринимал ярче, непосредственнее, в долгие бестеатральные годы он сам их обогатил и украсил в воспоминаниях.

Не любил он МХАТ, все это жизнеподобие на сцене — сверчки, чаепития и т. п. Театр есть театр. Театром он должен быть. И четвертой стены у него нет. О Мейерхольде, Вахтангове, Таирове говорил всегда с увлечением. Величайшей актрисой считал Алису Коонен.

Жаль, что он не дождался ни постановки своей пьесы «Анна Иванова» на сцене, ни экранизации своей прозы. У него было, как мне кажется, сценическое чутье.

«КАК НА ВЫСТАВКЕ МАТИССА»

Так начиналось стихотворение «Кто-то сердце крепко...» (1969 г.). «Волны Стикса» появились в нем по настоянию редактора, которому показалось неэпичным испытывать сердечную недостаточность на выставке выдающегося французского художника.

Тогда мы вместе были на открытии выставки, было много народу. Духота, и Варламу Тихоновичу стало плохо: вижу, он бледен, и пот выступил на лбу. Но упорно и твердо говорит: «Все хорошо. Хорошо». С трудом его увела в другой зал, усадила, и он отдышался, пришел в себя. А потом написал стихотворение об этом.

Мы часто бывали на выставках — Матисс, Роден, Петров-Водкин, Пироманишвили, Фальк, Пикассо, Ван Гог, Врубель... Просто ходили в Третьяковку, в Пушкинский музей.